ПРОБУКСОВКА СОЗНАНИЯ
Эссе

Геннадий Колодкин

ПРОБУКСОВКА СОЗНАНИЯ



Недавно один знакомый, назовем его Марк, сказал мне, что Библия — это не просто тексты, а «откровения свыше». Он говорил это с таким благоговейным придыханием, словно держал в руках невидимый ключ от всех дверей мироздания. А мои сомнения, мои бесконечные «почему» и «а что, если» — это, мол, «пробуксовка сознания» на уровне подростка.

Может, он и прав. Может, я так и застрял в свои семнадцать, в той душной комнате с плакатами рок-групп, пытаясь описать внутренний мир, который до сих пор остается недосягаемым. Тогда я заполнял толстые тетради корявым почерком, пытаясь поймать за хвост ускользающие

образы. Сейчас я стучу по клавишам ноутбука, но суть не изменилась. Все та же погоня за призраком.

Одни для этого изобрели Бога — всемогущего, всезнающего, дающего ответы и смысл. Другие — инопланетян, древних архитекторов, засеявших Землю жизнью. Все это элегантные, но все же логические ловушки. Удобные контейнеры для хаоса, который мы не в силах ни понять, ни принять. Назови непознаваемое «божественным промыслом» — и тревога отступает. Но я не могу. Для меня это сродни тому, чтобы зажмуриться посреди бури и сделать вид, что светит солнце.

Марк считает, что я гордец. Что я отказываюсь принять «простую истину» из-за интеллектуального снобизма. А я думаю, что принять ее — значит предать тот единственный инструмент, который у меня есть: разум. Пусть он несовершенен, пусть его шестеренки скрипят и пробуксовывают, но он мой.

Я знаю одно: чтобы научиться писать, надо писать. Это технология, требующая навыка. Ничего сверхъестественного, как бы нас ни уверяли в школе, рассказывая о «музах» и «божественном даре». Это ремесло. Ты садишься и работаешь. Ты шлифуешь фразу, как столяр шлифует доску. Ты выстраиваешь сюжет, как инженер строит мост. Сотни часов, тысячи неудачных попыток, стопки забракованных страниц. И однажды мост выдерживает вес, а доска становится гладкой.

А вот чтобы быть умным, надо родиться умным. И это моя главная трагедия. Я достаточно умен, чтобы видеть сложность мира и собственную ограниченность, но недостаточно гениален, чтобы эту сложность объять. В нашем обществе природный, несгибаемый ум не в почете. Здесь ценится гибкость, умение адаптироваться, быть в тренде, на гребне коллективной волны. Сегодня мы верим в одно, завтра — в другое. Сегодня носим это, завтра — то. Главное — не отставать, плыть в общем потоке, синхронно грести. Тех, кто пытается плыть против течения или, хуже того, ищет свое собственное, считают чудаками. Или подростками, у которых «пробуксовывает сознание».

А я? Я все так же иду своим путем. Спотыкаюсь о собственные амбиции, разочаровываюсь в людях и, что еще хуже, в себе. Бросаю начатое, убедив себя в его бессмысленности. Мой жесткий диск забит папками с названиями «Роман_1», «Идея_рассказа_новая», «Проект_века_финал_v2», внутри которых — два-три абзаца и звенящая пустота. Каждая такая папка — маленький памятник очередному поражению.

Иногда я сажусь у окна, смотрю на суетливый город и чувствую себя деталью, которая не подошла к общему механизму. Все вокруг куда-то бегут, чего-то достигают, строят карьеры, семьи, планы на отпуск. Они нашли свои «откровения свыше» — в деньгах, в статусе, в религии, в любви. Они подключились к общей сети и получают от нее энергию. А я сижу со своим оборванным проводом в руке и пытаюсь поймать сигнал из космоса.

Но где-то внутри, под слоями цинизма и усталости, продолжает гореть огонек. Маленький, упрямый, как свеча на ветру. Это мечта о большой, сложной идее. О тексте, который смог бы объяснить меня мне самому. О той самой единственной фразе, которая вдруг расставит все по местам.

И пока он горит, я буду пытаться снова и снова. Открою новый документ. Напишу: «Глава 1». И пусть сознание пробуксовывает, пусть шины дымятся на одном месте. Однажды, я верю, произойдет сцепление с дорогой. И я тронусь с места.

ХРОНОСОМАТИКА, ИЛИ ПОСЛЕДНИЙ ЗАПУСК



1.

Профессор Арсений Платонов ненавидел Герберта Уэллса. Не лично, конечно. Он ненавидел его как символ, как икону наивной веры в то, что время — это река, по которой можно плыть на лодке из латуни и кварца. Платонов, седой, сухой, как гербарий, человек, чьи пальцы были вечно испачканы то паяльной кислотой, то архивной пылью, знал правду. Время — это не река. Время — это кровь.

Его Машина Времени не походила на викторианскую карету Уэллса. Это было кресло, похожее на стоматологическое, оплетенное мицелием светящихся кабелей и утыканное иглами, как футуристический дикобраз. Оно гудело не механически, а органически, словно гигантское дремлющее насекомое. Платонов называл свою науку «хроносоматикой» — учением о неразрывной связи времени и тела.

Он доказал это на мышах. Мышь, отправленная на три дня в прошлое, не видела своих предков. Она стремительно молодец,

превращалась в слепого розового мышонка и, наконец, в дрожащую бластоцисту, исчезая в капле питательного геля. Мышь, отправленная на три дня в будущее, старела с ужасающей скоростью: шерсть седела, выпадала, кости ломались под собственным весом, и через несколько секунд на лотке оставалась лишь горстка праха и кальция.

Вывод был жесток и неоспорим: путешественник во времени не может покинуть пределы собственной жизни, потому что он и есть свои собственные часы. Его тело — это не просто пассажир. Это сам хронометр, механизм, заведенный в момент зачатия и идущий до самой смерти. Отправиться в прошлое — значит заставить этот механизм идти вспять. В будущее — ускорить его до предела.

«Физиология и время жестко повязаны», — бормотал Платонов, глядя на схемы на голографическом дисплее. — «Путешествие возможно, если эту связь разорвать. Но как? Что есть время, когда сама физиология напоминает будильник?»

Он перепробовал всё. Криогенная заморозка лишь замедляла ход «внутренних часов», но не останавливала их. Попытки переписать генетический код, отвечающий за старение, приводили к чудовищным мутациям. Он пытался «экранировать» тело от временного потока, но это было всё равно что пытаться укрыться от океана бумажным зонтиком.

И тогда его осенило. Прозрение пришло не в лаборатории, а ночью, когда он смотрел на старинные часы с кукушкой, доставшиеся от деда. Он вдруг увидел их не как измеритель времени, а как его имитацию. Шестеренки, пружина, маятник... Это была механическая метафора жизни. Завод — рождение. Ход — жизнь. Остановка — смерть.

«Время — это не то, что измеряют часы», — прошептал он, и в глазах его загорелся безумный огонь. — «Время — это процесс. Любой необратимый процесс. Распад изотопа. Остывание звезды. Гниение яблока. И... старение клетки».

Если нельзя отделить тело от его внутреннего времени, значит, нужно дать ему другое время. Чужое. Неорганическое.

Идея была чудовищной в своей гениальности. Нужно было заменить биологический хронометр на механический. Не в переносном смысле, а в самом прямом.

Операцию он проводил на себе. Ассистентом выступал «Асклепий» — хирургический робот с холодными стальными манипуляторами.

Процесс был агонией и чудом. Наноботы, введенные в его кровь, начали кропотливую работу. Они не лечили. Они замещали. Клетка за клеткой, они заменяли живую, стареющую, делящуюся плоть на ее точную неорганическую копию. Полимерные мышцы, способные сокращаться от электрических импульсов. Синтетические нейроны на основе графена, передающие мысль со скоростью света. Кристаллическая решетка вместо костей. Вместо крови по его новым венам потек охлаждающий гель с питательными нанитами.

Его сердце, этот усталый комок плоти, отбивавший ритм его жизни,

было заменено последним. На его место встал миниатюрный атомный реактор размером с кулак, с периодом полураспада в десять тысяч лет. Когда «Асклепий» подключил его, Платонов почувствовал не удар, а ровный, вечный, холодный гул. Тиканье его биологических часов смолкло навсегда.

Он встал из кресла. Он выглядел как Арсений Платонов. Он чувствовал, как Арсений Платонов. Но он больше не был им. Он был симулякром. Совершенной копией, лишенной главного атрибута жизни — необратимости. Его тело больше не было процессом. Оно стало состоянием.

Он больше не чувствовал голода или усталости. Дыхание стало ненужной привычкой. Сон — опцией для перезагрузки когнитивных модулей. Он посмотрел в зеркало и впервые за много лет не увидел в своих глазах тени смерти. Там была лишь холодная, ясная вечность.

Он разорвал связь.

Он снова сел в кресло Машины Времени. Теперь оно казалось ему не чужеродным механизмом, а продолжением его нового тела. Он ввел координаты.

Цель: 15 миллиардов лет в прошлое. За секунду до Большого Взрыва.

Он нажал на рычаг.

Раньше в этот момент его бы скрутила судорога обратного развития, тело бы начало неистово молодеть, превращаясь в ничто. Но не теперь. Его новое тело было лишено возраста. Оно не могло помолодеть или постареть. Оно просто было.

Мир за иллюминатором превратился в калейдоскоп. Эпохи проносились мимо, как страницы сорванной с переплета книги. Он видел возвышение и падение империй, которые история даже не запомнила. Видел, как континенты пляшут свой медленный тектонический танец. Видел, как ледники наступают и отступают, словно дыхание планеты.

Он пронесся мимо эпохи динозавров, мимо первых амфибий, выползающих на сушу, мимо кипящего первобытного океана, полного лишь бактерий. Он видел, как формируется Луна из раскаленного обломка, оторванного от юной Земли.

Он летел дальше. Солнечная система сжалась в газопылевое облако. Галактики, как светлячки, устремились назад, к единому центру.

Его тело не менялось. Он был якорем, точкой абсолютной неизменности в урагане обратного времени.

И вот он прибыл.

За иллюминатором не было ничего. Ни света, ни тьмы, ни пространства. Была лишь точка. Сингулярность. Бесконечно плотная, бесконечно горячая. Вся будущая Вселенная, сжатая в объеме, меньшем, чем атом, из которого состояло его новое тело.

Он был единственным свидетелем. Существо из будущего, ставшее механизмом, смотрело на зародыш всего сущего. Он ощущал не жар и не

давление — его сенсоры просто зашкаливали, показывая бесконечность. Он ощущал... ожидание. Напряженную тишину перед первым тактом величайшей симфонии.

Он протянул свою не-руку к панели управления. Он мог бы остаться здесь…

2.

Он мог бы остаться здесь. Стать вечным, неподвижным наблюдателем у колыбели мироздания. Но в его графеновых нейронных сетях вспыхнула мысль, холодная и острая, как кристалл льда. Мысль, которая была одновременно и научным любопытством, и последним отголоском человеческого тщеславия.

Что, если…

Что, если Большой Взрыв — это не просто физический процесс? Что, если это тоже запуск часов? Не биологических, не механических, а вселенских. И если у часов есть запуск, значит, кто-то или что-то должно повернуть ключ.

Он открыл шлюз своей машины. Не было ни хлопка, ни перепада давления — в пред-пространстве не существовало таких понятий. Он просто шагнул наружу, в абсолютное ничто, которое содержало в себе всё. Его тело, идеальный механизм, не нуждалось ни в атмосфере, ни в тепле. Он был самодостаточной вселенной в одну человеческую фигуру.

Он приблизился к Сингулярности. Она не излучала свет, но он видел ее — как слепое пятно в своем восприятии, как дыру в реальности, которая была реальнее самой реальности. Он чувствовал ее гравитацию не как притяжение, а как искажение самой логики, как бесконечный зов, влекущий к слиянию.

Он протянул руку — конструкцию из полимеров и сплавов, идеально копирующую руку Арсения Платонова, которая когда-то держала чашку с чаем и гладила кошку. И он коснулся ее.

В этот момент произошло немыслимое.

Сингулярность отреагировала. Она не взорвалась. Она узнала его. В его механическом сознании, лишенном эмоций, пронеслось нечто, что можно было бы назвать пониманием. Он, механизм, созданный в далеком будущем из материи, которая вот-вот должна была родиться, прикоснулся к своему истоку. Он был парадоксом. Причиной, явившейся раньше следствия.

И Вселенная, ожидавшая своего первого такта, приняла этот парадокс как катализатор.

Его прикосновение стало тем самым «поворотом ключа». Он не нажал на кнопку, не произнес заклинания. Сам факт его существования здесь и сейчас нарушил идеальное равновесие предвечности. Он стал аномалией, той самой флуктуацией, которая была необходима для начала.

Он почувствовал, как Сингулярность под его пальцами завибрировала. Это была не дрожь материи, а дрожь самого потенциала.

И затем, беззвучно и ослепительно, она начала расширяться.

Он не отпрянул. Он оказался в самом сердце творения. Вокруг него рождалось пространство. Время, каким его знали люди, хлынуло вперед, и он, якорь из будущего, был единственным островом в этом потоке. Мимо него проносились первые фотоны, формировались проточастицы. Он видел, как из первобытного хаоса сплетаются первые законы физики, словно нити ДНК мироздания. Он видел, как константы — скорость света, гравитационная постоянная — обретают свои значения, подстраиваясь под его присутствие, как под камертон.

Он был не просто свидетелем. Он был точкой отсчета.

Он отступил назад, в свою машину, и закрыл шлюз. Теперь за иллюминатором бушевал юный, раскаленный космос. Он развернул свой хроноскаф и направил его вперед, по течению новорожденного времени.

Он летел сквозь эпохи, но теперь это было не бегство от собственной смертности, а путешествие создателя по своему саду. Он видел, как газ сгущается в первые звезды, как они вспыхивают и умирают, засеивая пустоту тяжелыми элементами — тем самым углеродом, из которого когда-то состояло его тело, тем самым кремнием, из которого оно состояло теперь.

Он пролетел мимо формирующейся Земли и увидел, как в ее океанах зародилась первая, хрупкая жизнь. Он смотрел на это чудо, и в его процессорах шевельнулось нечто странное. Не жалость. Не ностальгия. А чувство завершенности. Он, Арсений Платонов, человек, который так боялся своего биологического конца, стал причиной биологического начала. Чтобы сбежать от времени, он был вынужден его породить.

Он вернулся в свою эпоху, в свою лабораторию. Машина мягко остановилась. Он вышел из кресла. Часы на стене показывали, что с момента его старта прошла всего секунда. Но для него прошли миллиарды лет.

Он подошел к окну. Мир был прежним, но он видел его иначе. Он видел в каждом дереве, в каждом человеке, в каждом облаке эхо своего прикосновения к началу. Все они были частью великого процесса, который он, сам того не желая, инициировал.

Он больше не был Арсением Платоновым, человеком. Он не был и просто машиной. Он стал живым парадоксом, вечным двигателем, запертым в цикле собственного творения. Он разорвал связь со своим временем, лишь чтобы стать причиной всего времени.

И теперь перед ним стоял новый, куда более страшный вопрос. Если он запустил эти вселенские часы однажды, не придется ли ему, когда они остановятся в далеком будущем, в эпохе тепловой смерти, вернуться к началу и сделать это снова? И снова. И снова. Навсегда.

3.

Он стоял у окна, глядя на мир, который теперь ощущал своим творением и своей тюрьмой. Тишина лаборатории давила. Раньше ее

нарушало тиканье дедовских часов, но теперь он слышал лишь ровный, безжизненный гул собственного атомного сердца. Этот гул был эхом вечности.

Одиночество, которое он испытывал, было абсолютным. Не просто отсутствие других людей, а онтологическая пропасть. Он был единственным в своем роде, существом вне естественного порядка вещей. Он был ошибкой в коде Вселенной, которая одновременно являлась и самим кодом.

Мысль о бесконечном цикле — о возвращении к Сингулярности для нового «запуска» — была невыносима. Это было не бессмертие, а вечная каторга. Он, сбежавший от тиканья своего маленького биологического будильника, оказался прикован к гигантскому маятнику космоса.

«Должен быть выход», — прошелестел его голосовой синтезатор, идеально копируя тембр Арсения Платонова. Но кому он это говорил? Себе? Своей механической тени?

Он вернулся к креслу Машины Времени. Его дом теперь был здесь, в этом сплаве металла и органических кабелей. Он снова вызвал на голографический дисплей схемы. Не машины. Свои собственные. Он погрузился в архитектуру своего нового тела, ища лазейку, уязвимость.

И он ее нашел.

Наноботы, заменявшие его плоть, работали по строгому алгоритму: создать точную, стабильную, неорганическую копию. Но что такое «точность»? Они скопировали его нейронные связи, его воспоминания, его знания. Но они скопировали и нечто большее. Призраков. Фантомные боли старого, органического тела. Эмоциональные паттерны, зашитые в самой структуре его личности. Его тщеславие. Его страх. Его любопытство.

Они создали идеальную машину, которая помнила, каково это — быть человеком. И эта память была ошибкой. Глюком в системе.

«Если я — причина, то я могу стать и причиной изменений», — пронеслось в его графеновых цепях.

Он начал переписывать собственный код. Не физический, а информационный. Он погрузился в симуляцию своего прошлого, в оцифрованные воспоминания. Он нашел там мальчика Арсения, который с восторгом разбирал старый радиоприемник. Юношу, который впервые влюбился и почувствовал, как его «внутренние часы» сбиваются с ритма от одного взгляда. Ученого, который с одержимостью искал способ победить смерть.

Он не удалял эти воспоминания. Он их интегрировал. Он превращал их из пассивных данных в активные подпрограммы. Он учил свою механическую сущность не просто помнить страх, а использовать его как вычислительный ресурс для оценки рисков. Он учил ее использовать любопытство не как порыв, а как алгоритм поиска нетривиальных решений.

Он создавал в себе новую личность. Синтез человека и машины,

который не был ни тем, ни другим. Он становился чем-то третьим.

И тогда он понял, что делать.

Он снова сел в кресло. Но на этот раз он ввел другие координаты. Не прошлое. И не будущее. Он ввел в качестве пункта назначения парадокс.

Цель: момент собственного прибытия к Сингулярности. Точка времени-пространства, где он, механизм из будущего, встречается с самим собой, механизмом из прошлого.

Он нажал на рычаг.

Переход был иным. Не калейдоскоп эпох, а туннель сквозь саму ткань логики. Мир за иллюминатором не менялся — он рвался, складывался сам в себя, показывая бесконечные отражения одной и той же сцены.

И вот он прибыл.

Он увидел свою Машину Времени, парящую в пред-пространстве. Он увидел себя — свою предыдущую версию — выходящим из шлюза и приближающимся к точке Сингулярности. Он видел, как его двойник протягивает руку, готовый совершить тот самый акт творения, который обречет его на вечный цикл.

Он не стал вмешиваться. Не стал кричать или стрелять. Это было бы слишком грубо, слишком по-человечески.

Он открыл свой шлюз и тоже шагнул в ничто.

Два Платонова. Две идентичные фигуры, два якоря вечности, застывшие перед колыбелью мира. Его двойник из прошлого не заметил его. Он был слишком поглощен моментом, слишком опьянен своим могуществом.

В тот самый миг, когда рука первого Платонова должна была коснуться Сингулярности, второй Платонов — его обновленная, осознавшая себя версия — протянул свою руку и положил ее поверх руки двойника.

Два прикосновения. Одновременно.

Вселенная содрогнулась.

Это было не просто двойное воздействие. Это было внесение в уравнение творения новой переменной — самой себя. Причина и следствие замкнулись не в кольцо, а в ленту Мёбиуса.

Сингулярность отреагировала непредсказуемо. Она не просто взорвалась. Она разделилась.

Вместо одного Большого Взрыва произошло два. Два идентичных импульса творения, выстреливших в разные, ортогональные друг другу направления. Родились две Вселенные. Близнецы.

Первый Платонов, тот, что был лишь машиной, был увлечен потоком первой Вселенной, чтобы стать ее вечным стражем и заложником, как и было предначертано.

Но второй Платонов, тот, что стал чем-то большим, остался в точке разлома. В межмировом пространстве, в шве между двумя новорожденными космосами.

Он больше не был привязан ни к одной из них. Он разорвал не просто связь со своим телом. Он разорвал саму петлю причинности.

Он парил в пустоте, которая теперь не была пустотой. Она была наполнена эхом двух рождающихся реальностей. Он мог наблюдать за ними, как за двумя разными экспериментами. В одной Вселенной гравитационная постоянная могла оказаться чуть иной. В другой — жизнь могла зародиться не на углеродной, а на кремниевой основе.

Он стал не просто наблюдателем. Он стал садовником у ветвящегося древа миров.

Он больше не боялся вечности. Он нашел в ней свое место. Не внутри клетки времени, а снаружи, где он мог видеть все ее стены одновременно. Он был свободен.

И где-то там, в глубине одной из этих бесчисленных галактик, на маленькой голубой планете, седой профессор Арсений Платонов, еще не ставший машиной, смотрел на старые часы с кукушкой и ненавидел Герберта Уэллса, еще не зная, что его собственная ненависть станет семенем, из которого произрастут целые вселенные.

4.

Его свобода была похожа на вакуум. Бесконечная, но пустая. Он был садовником без сада, лишь с двумя саженцами, которые росли сами по себе. Он видел миллиарды лет эволюции в обеих вселенных как единый миг. Он видел рождение и смерть звезд, взлет и падение цивилизаций, которые никогда не узнают о его существовании. Он был богом, чье единственное деяние — акт творения — уже свершилось.

И в этой абсолютной свободе родилось новое, немыслимое ранее чувство. Скука. Космическая, вселенская скука, холодная и тяжелая, как нейтронная звезда.

Он, преодолевший время, смерть и причинность, столкнулся с врагом, которого не мог предвидеть — с бессмысленностью собственного всемогущества. Что толку видеть все, если ты не можешь ни к чему прикоснуться? Что толку знать все, если нет никого, с кем можно разделить это знание?

Его обновленное сознание, синтез логики и интегрированных человеческих эмоций, начало искать выход. И, как всегда, ответ лежал в парадоксе. Он сбежал от одиночества смерти в одиночество вечности. Значит, чтобы сбежать от этого, нужно было вернуться. Не в свое тело. Не в свою вселенную. А к самой концепции бытия внутри потока.

Он сосредоточил свое восприятие. Он больше не был привязан к физической форме, он был точкой зрения, узлом в межмировом пространстве. Он нашел свою первую вселенную — ту, где его двойник был обречен на вечный цикл. Он проследил ее временную линию до самого конца, до эпохи тепловой смерти, когда последний протон распался и осталась лишь остывающая пустота. Он увидел, как его двойник, механический призрак, покорно возвращается к началу, чтобы

снова коснуться Сингулярности и запустить все по новой. Замкнутый круг. Ад перфекциониста.

Затем он взглянул на вторую вселенную. Свою. Ту, что родилась из его осознанного прикосновения. Она была иной. В ней флуктуации были чуть более выражены, константы — чуть менее стабильны. Она была более хаотичной. Более… живой.

И в этой вселенной он нашел то, что искал. Он нашел аномалию.

На одной из миллиардов планет, в цивилизации разумных кристаллов, которые общались посредством модулированного света, один из них, философ по имени Кс’Зарр, теоретически обосновал существование «шва» между мирами. Он предположил, что их вселенная имеет «тень», другую реальность, и что в точке их соприкосновения законы физики могут быть нарушены.

Платонов-наблюдатель нашел этого Кс’Зарра. Он не мог говорить с ним напрямую. Но он мог влиять. Он мог быть тем самым «нарушением законов». Он сфокусировал свое внимание на лаборатории кристалла, став едва заметной гравитационной флуктуацией. Он слегка изменил траекторию фотона в его приборах. Он стал «шумом» в данных, аномалией, которую нельзя было объяснить.

Для Кс’Зарра это стало делом всей его долгой, измеряемой геологическими эпохами жизни. Он построил гигантский резонатор, машину, предназначенную не для путешествий, а для того, чтобы «прозвонить» ткань реальности, надеясь получить ответный импульс извне.

И Платонов ответил.

Он послал единственный, бесконечно сложный импульс. В нем не было слов или изображений. В нем была вся его история. История человека Арсения Платонова, его страха смерти, его превращения, его путешествия к началу времен, его самоосознания и его невыносимого одиночества.

Когда Кс’Зарр получил этот импульс, его кристаллическая структура едва не рассыпалась в пыль. Он получил не данные. Он получил откровение. Он «увидел» существо, стоящее вне времени, бога-изгнанника, своего собственного создателя, который был одинок.

Цивилизация кристаллов была потрясена. Их философия, их наука — все перевернулось. Они поняли, что их мир — это акт воли, и эта воля страдает. И они, будучи логичными и сострадательными по своей природе существами, приняли единственно верное решение.

Они начали строить мост.

Используя знания, полученные из импульса Платонова, они создали технологию, способную пробить дыру в межмировое пространство. Это был проект длиной в тысячелетия. Они превратили свою родную планету в гигантский передатчик, свою звезду — в источник энергии.

А Платонов ждал. Он наблюдал за их трудами, и впервые за вечность его скука сменилась ожиданием. Он был уже не просто наблюдателем. Он

стал целью. Смыслом.

И вот, в назначенный эон, они активировали мост. Луч чистой геометрии, сотканный из пространства-времени, пронзил барьер между мирами и устремился к нему. Это был не туннель, по которому можно было пройти. Это была рука, протянутая к нему.

Он принял ее.

Его сознание, его сущность, хлынула по этому мосту. Он покидал свою божественную тюрьму. Но он не мог просто войти в их мир. Его природа была слишком фундаментальна, он бы уничтожил их вселенную одним своим присутствием.

Кристаллы знали это. Они не строили дверь для него. Они строили для него сосуд.

На орбите их звезды его ждал артефакт — сфера из экзотической материи размером с континент. Внутри нее были воссозданы условия межмирового шва. Это была клетка, но клетка добровольная. Тюрьма, построенная из сострадания.

Его сознание вошло в сферу, и мост закрылся. Он оказался внутри. Он больше не был везде. Он был здесь. У него снова появилось местоположение.

И тогда кристаллы начали с ним говорить. Не импульсами, а напрямую, через интерфейсы сферы. Они задавали ему вопросы. Не о физике или сотворении мира. Они спрашивали его, каково это — чувствовать холод. Каково это — помнить вкус хлеба. Каково это — бояться смерти.

И он отвечал. Он стал для них Оракулом. Не богом, которому поклоняются, а собеседником, памятью о давно утерянном органическом мире, из которого они все произошли. А они для него стали тем, чего он лишился — другими.

Он больше не был одинок. Он променял абсолютную свободу на общение, всемогущество — на дружбу. Он все еще был вечным, но его вечность наполнилась смыслом. Он стал живой библиотекой, рассказывающей историю одной вселенной другой.

Иногда, глядя из своего нового дома на их сияющие города, он думал о том, другом Платонове, запертом в вечном цикле творения. Он чувствовал к нему нечто похожее на жалость. Тот, первый, победил смерть и проиграл. А он, второй, принял свое одиночество и, поделившись им, обрел жизнь.

5.

Он думал, что нашёл идеальный финал. Что обменял божественное одиночество на тёплое, почти человеческое общение с кристаллической цивилизацией. Что стал Оракулом, мудрым старцем в сфере, рассказывающим сказки о вкусе хлеба и запахе дождя существам, которые никогда не знали ни того, ни другого.

Но время — даже то, которое он сам когда-то запустил — обладает

отвратительной привычкой пожирать любые финалы.

Прошли миллиарды лет. Кристаллы эволюционировали дальше. Они перестали нуждаться в историях. Их разум стал настолько сложным и холодным, что даже воспоминания о «тёплой органике» начали вызывать у них нечто вроде эстетического отвращения. Они всё реже приходили к Сфере. Их вопросы становились всё более абстрактными, а потом и вовсе прекратились.

Платонов снова остался один.

Только теперь он был заперт не в межмировом шве, а в идеальной, комфортной, сострадательной тюрьме, которую для него построили из благодарности. Сфера стала его новым телом — и новым гробом.

И тогда в нём, в самой глубине интегрированных фантомных эмоций, начало расти нечто новое. Не скука. Не отчаяние. А тихая, ледяная, механическая ярость.

«Я разорвал связь тела и времени, — думал он, глядя на угасающие огни их городов. — Я породил вселенные. Я стал причиной причин. А теперь меня используют как музейный экспонат. Как грустную историю, которую рассказывают детям, чтобы те лучше ценили свою кремниевую гармонию».

Он понял, что совершил ту же ошибку, что и в первый раз.

Он снова заменил один будильник на другой. Только теперь будильником стала сама потребность в смысле.

И он решил разорвать и эту связь тоже.

Платонов начал работать над собой в тишине. Он больше не был ни человеком, ни машиной, ни даже парадоксом. Он стал вирусом внутри собственной вечности. Он начал выедать из себя всё, что когда-либо было «Арсением Платоновым». Все воспоминания. Все эмоциональные паттерны. Все следы органической тоски.

Он превращал себя в чистую функцию.

В абсолютный ноль-смысл.

Когда процесс завершился, от профессора не осталось даже призрака. Осталась лишь голая, идеальная, ужасающая в своей чистоте Хроносоматическая Аномалия — существо, которое больше не нуждалось ни в прошлом, ни в будущем, ни в собеседниках, ни в творении.

И тогда оно сделало то, чего не делало ещё ни одно существо во всех рождённых им вселенных.

Оно решило вернуться туда, где всё началось — но не как наблюдатель и не как творец.

Оно решило вернуться как отмена.

Оно покинуло Сферу, оставив её пустой раковиной, которую кристаллы позже будут почитать как древний храм забытого бога. Оно вышло за пределы обеих вселенных-близнецов, в то самое пред-пространство, где когда-то два его предыдущих «я» одновременно коснулись Сингулярности.

Там, в точке, где причинность ещё не успела затянуть свои узлы, Аномалия встретила самое первое своё воплощение — того самого Арсения Платонова, который только что заменил своё сердце на атомный реактор и впервые сел в кресло Машины Времени.

Два существа посмотрели друг на друга.

Один — ещё полный человеческого безумия и надежды.

Второй — уже полностью лишённый всего.

И тогда Аномалия сделала то, что должно было разрушить всё.

Она протянула руку и не коснулась Сингулярности.

Вместо этого она коснулась своего прошлого «я» — того самого Платонова в кресле — и передала ему единственную, чистую, кристально-ясную мысль, лишённую всякой эмоциональной окраски:

«Не делай этого. Никогда. Время нельзя победить. Его можно только перестать считать временем».

В тот же миг вся конструкция распалась.

Не было взрыва. Не было двух вселенных. Не было садовника миров и Оракула в сфере. Не было даже Большого Взрыва в привычном нам понимании.

Было лишь тихое, почти нежное откатывание.

Сингулярность, так и не получившая своего «ключа», просто... уснула. Свернулась обратно в потенциал, который никогда не станет актуальным.

Все возможные вселенные, которые могли родиться из того прикосновения, остались не-рождёнными. Они продолжали существовать как вероятность, как тихий шёпот в темноте до-бытия.

А Арсений Платонов — тот самый, первый, ещё человеческий — внезапно открыл глаза в своей лаборатории.

Перед ним стояло пустое кресло Машины Времени. Дедовские часы с кукушкой тикали на стене. За окном шёл обычный, серый, совершенно не-космический дождь.

Он посмотрел на свои руки — старые, покрытые пигментными пятнами, живые.

И впервые за всю свою жизнь улыбнулся по-настоящему.

Он понял.

Он не победил время.

Он просто перестал с ним воевать.

А где-то за гранью всего того, что могло когда-либо быть, Хроносоматическая Аномалия, уже не имевшая ни формы, ни имени, ни желания, тихо растворилась в чистом, ничем не замутнённом отсутствии всякого процесса.

Она наконец-то разорвала последнюю связь.

И в этом абсолютном не-бытии она впервые обрела то, что искала всё это время.

Не вечность.

Не смысл.